

БЕЛАЯ ТЕНЬ



ПАВЕЛ НРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил географо-биологический факультет Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В первой половине 80-х — активный участник музыкального андеграунда, член Ленинград-

ского рок-клуба. Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати, редактором в издательствах. Автор восьми романов и нескольких сборников малой прозы. Отдельные произведения переведены

на сербский, словацкий, болгарский, немецкий, итальянский, английский и китайский языки. Лауреат премии журнала «Октябрь». Четырежды финалист премии «Национальный бестселлер». Финалист премии «Большая книга». Лауреат премии «Созидающий мир».

Вчера Петр Алексеевич славно пображничал с Цукатовым и Иванютой в трактире на Кузнечном. Давно они не купались в струях такой дружеской сердечности и не опрокидывали рюмочку под такой занятный разговор. Обошлось без мелких капризов Иванюты (хочу блины – вот такой длины), забавных в отдельности, но тяжелых в охапке, и без цукатовской заносчивости (не дорог твой кирпич, дорог мой жемчуг), вынуждающей собеседника к ответным колкостям или напряженной сдержанности, вредным для безмятежного духа застолия. Да и сам Петр Алексеевич не нудил – все шло легко, вдохновенно, как в юности. Ощущение душевности не отравила даже поджидавшая дома отповедь Полины, полная старых обид и запальчивых упреков: ничего не попишешь – пьянство и в самом деле здорово отвлекает от семейной жизни.

Профессор Цукатов рассказывал о необычайном случае везения из давних времен: однажды студеном он, волжский паренек, приехавший в Ленинград ковать ученую карьеру, шел по улице голодный и бедный, мечтая о скромном пирожке и чашке бульона, – денег не было даже на такую чепуху. Ему запомнилось: вокруг – охристая симфония Садовой, а небесная лазурь над ней, черт дерь, полна такой чистоты, что уже походит на сияющий звук, от которого слепнут глаза и закладывает уши. Кажется, стоял апрель. Как писал Гончаров, провинциал по-

началу всегда объявляет войну тому, что есть в столице и чего нет в его Новогородищенске, – Цукатов выпадал из этого правила. Он сразу принял Ленинград со всем его холодным великолепием, мечтал овладеть поразительной техникой его убийственной вежливости и считал себя вполне счастливым: с первого раза он не поступил в университет, но проявил упорство – вернулся домой, год отработал на заводе, дававшем бронь от армии, усердно готовился, и в результате вторая попытка оказалась успешной. Что касается денег – их не было потому, что три дня назад он на остатки стипендии и тех средств, которые ежемесячно присылали родители, купил в комиссионке банджо. Страсть к извлечению гармоничных звуков была его вторым жизненным движителем, но в сравнении с тягой к науке – факкультативным. В его комнате в общежитии уже составилась небольшая музыкальный инструментарий: гитара, деревянная блок-флейта, альтовая продольная и вот теперь – банджо. Не просто вообразить себе звучание такого квартета. Уже второе утро он просыпался в этой комнате от голода, ехал в университет, в студенческой столовой брал бесплатный хлеб и жевал на лекциях, однако ни минуты не сожалел о покупке. В юности Цукатов был идеалистом и разносторонней личностью.

Итак, он шел, в брюхе у него выли волки, и, глядя под ноги, он мечтал найти хотя бы двугривенный –

по тем временам на пирожок с бульоном этого бы вполне хватило. И тут он увидел на асфальте червонец – подарок судьбы, превозмогавший его воображение. Вот так: молил о корке хлеба, а получил горшок каши. И даже больше. Собственно, все.

«Журавлиный разбег и куриный полет», – подумал Петр Алексеевич и ошибся. А Иванюта сказал:

- Судьба ли это?
Разъяснений, однако, не последовало.
- Можно считать это явлением природы. Редким, вроде шаровой молнии. – Петр Алексеевичковырнул вилкой селедку под шубой. – Просто оно еще ждет своего исследователя.
- Нет, – отверг предложение Иванюта. – Ты все равно говоришь о чуде, только другими словами. Мы ведь любое стечение обстоятельств рассматриваем так: могло быть хуже, гораздо хуже, а вышло лучше. Чем не чудо...
- Судьба – громко, согласен. – Профессор благосклонно кивнул. – Удача. Просто повезло.
- А вдруг это пример чьей-то адресной заботы? – нависая над столом, подался вперед Иванюта. – Вполне поюсторонней, но скрытой, маскирующей под везение. А порой и под судьбу. Помните евангельскую заповедь о тайном благодеянии?
- Нагорная проповедь. – Петру Алексеевичу даже не пришлось напрягать память. – Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не ведает, что делает правая.
- Именно, – удовлетворенно откинулся на спинку стула Иванюта. – Отцы церкви почему-то не уделили этой заповеди должного внимания.
- Что ты имеешь в виду? – Цукатов не любил, когда высказывались подозрения относительно того, что, по его мнению, сомнению не подлежало, – церковь была для него вещь несомненной (как и совершенства избранных киноактеров его юности, а также избранных песен, певшихся в те времена).
- Явное благодеяние, которое мы себе позволили, тешит наше тщеславие – так? – спросил Иванюта и, смутившись, тут же пояснил: – Ну, какие-то условные *мы*. Просто люди...
- Да поняли, – махнул рукой профессор. – Смирный гордый дух – делай благое дело тайно, не напоказ. Но на отцов церкви-то зачем грешить?
- А что, тебе известен какой-то монашеский или рыцарский орден, основанный на принципе тайного благодеяния? – Лицо Иванюты приобрело торжественное выражение.
Цукатов задумался. Петр Алексеевич хмыкнул:
- Разумеется, не известен. Иначе какая тут тайность.

Пойманный на противоречии, Иванюта смешался, но лишь на миг:

- Так в этом и дело!
- В чем? – не сообразил Цукатов.
- Он хочет сказать, – пояснил за Иванюту Петр Алексеевич, – что тот червонец, который ты нашел студентом на Садовой, тебе втихую подбросил рыцарь ордена тайного благодеяния. Орден, разумеется, тоже глубоко законспирирован.
- «Ай да Иванюта!» – подумал Петр Алексеевич. Мысль об ордене скрытого милосердия сильно воодушевила его, так что он почувствовал напряженную пульсацию откровения, ищущую выход энергию открытия, в единый миг вырвавшуюся из брошенного зерна, и теперь отменявшую былые представления, и ослаблявшую привычные цепочки связей, при том что сама эта сила стала неодолимой и неотменяемой. Идея и впрямь дышала неожиданной новизной и в развитии обещала щедрую пищу фантазии.
- Смешно, – вышел из задумчивости профессор.
- Это в упрощенном виде. – Иванюта намазал горчицей ломтик отварного языка. – Отцы церкви могли бы трактовать тайное благодеяние куда шире – не как человеческую, а как божественную волю, как чудеса, скрытые от нас. Скажем, сокровенное, неведомое может в этом ключе быть представлено как не случившееся, как то, от чего мы оказались спасены. Спасены, но не осведомлены о своем спасении. Тогда многие наши испытания и беды, вплоть до самой смерти, могут быть осмыслены как нечто такое, что предотвратило еще большие несчастья. – Иванюта оглядел застолье каким-то отрешенным взглядом. – Большие, чем те, с которыми мы имеем дело. Почему? – Вопрос повис в пространстве. – Потому что предотвращенное могло оказаться нам не по силам. Или не по зубам. Мы бы просто этого не вынесли.
- Так откуда же взялся червонец? – спросил Цукатов, кажется, сам слегка удивляясь своей настойчивости.
- Ну да, – взял сторону профессора Петр Алексеевич. – Эта задача выглядит занимательнее проблем христианской теологии. Взять, к примеру, тайное зло... То есть идею тайного зла, творимого именно как зло и как тайное. Масоны, атлантисты, сионские близнецы – вот некоторые из его имен в нашей привычной картине мира.
Чувствуя осознанность оговорки, Петра Алексеевича никто не поправил.
- Еще юристы и врачи, – сказал Иванюта.
- Что? – Петр Алексеевич моргнул.

- Адвокаты и стоматологи вызывают у меня большие подозрения.
- Допустим. – Петр Алексеевич счел реплику малозначащей. – Так вот, все это тайное зло, по общему мнению, уже давно определяет текущую повестку. Определяет, не выходя из тени. И хотя эта картина мира порядком истрепалась, другой нет. Не так ли?
- Хочешь предложить? – Иванюта определенно предвкушал нечто забавное.
- Хочу. Давайте вообразим мир, пружиной которого становится тайное благо. – Петр Алексеевич по очереди посмотрел сначала на Иванюту, потом на Цукатова. – Представьте, что миром движет сокровенное добро. Причем не только божественной, но и человеческой выделки. Как вам такая конспирология?
- Ну-ка, ну-ка... – Цукатов старался уследить за мыслью.
- Поясняю. Довольно разоблачать очередную мировую закулису – хрен с ней, с непутевой. Давайте поищем для нашей прозорливости другую область применения. – Петр Алексеевич выдержал красноречивую паузу. – Не пора ли обратить внимание на более загадочную цепь событий? Вот, скажем, живет талантливый художник, музыкант или ученый – кому как нравится... Живет, творит, однако косная среда, как водится, его не принимает, не оценивает по достоинству, и вместо признанности – кукиш с коромыслом. И тем не менее, как птице небесной, как цветку полевому, каждый новый день есть ему пища и залатанные штаны, чтобы прикрыть голый зад. А иной раз, – рука Петра Алексеевича, описав плавную дугу, указала на профессора, – и десятка под ногами. Словом, вопреки очевидным препонам, художник продолжает писать, а ученый – мыслить. Хотя он пока и студент. Как так? Почему?
- Сам же сказал про птах небесных. – Цукатов указал пальцем в потолок. – На то Его промысел.
- Промысел – это понятно. Но если дело только в нем, то нет и мировой закулисы – есть лишь козни дьявола.
- Не верю я в конспирологию – ни в злую, ни в добрую. – Иванюта все чаще ошупывал руками свое лицо и голову в целом, что было признаком хмельного воодушевления.
- А стоматологи? – напомнил Петр Алексеевич.
- Не отвлекайтесь. – Профессор поднял наполненную рюмку. – За разум.
- Тост какой-то двусмысленный, – поглаживая лоб, заметил Иванюта, однако Цукатова поддержал.
- Душа Петра Алексеевича, обычно откликавшаяся на движение масс, на этот раз осталась безучастной – рюмку он осушил без энтузиазма.
- Разум, – пояснил профессор, – не только продукт эволюции. Теперь он стал ее инструментом. Возникни нужда человеку отрастить смертоносный коготь, взлететь под облака или погрузиться в пучину морскую, естественным путем, черт дери, пришлось бы идти к этому миллионы лет. А положившись на разум, человек эту нужду уже восполнил.
- Вернемся к нашим фантазиям, – опасаясь заболтать занятную тему, предложил Петр Алексеевич. – А что если посмотреть на все иначе? С непривычного угла?
- Как именно? – Иванюта почесал нос.
- Ты что, не слушаешь? Предположим, что миром движет не зло. Я имею в виду зло тайное. Предположим, что существуют, пусть разрозненно, ничего не зная друг о друге, некие влиятельные люди... или даже целые сообщества, которые буквально следуют завету Христа про скрытое благодеяние. Что тогда?
- Что? – Цукатов хотел знать.
- Ну как же... Ведь у такой практики по ходу дела непременно складываются определенные правила. Чтобы обеспечить технику безопасности. Чтобы не навредить. Без этого – никуда. Согласны? Как бы эти люди ни были всемогущи, помощь их должна быть не только анонимной, но и... Словом, ей следует не только иметь неопределимый источник, но и вообще никому не бросаться в глаза. Малейшее подозрение о наличии такой помощи способно принести осложнения. Посторонние будут искать скрытый мотив, а тот, кому тайная помощь оказывается, чего доброго, сочтет ее манной небесной и задумается о собственной богоизбранности.
- Петр Алексеевич со значением посмотрел на профессора.
- Конвергентная эволюция, – сказал Цукатов.
- Это что еще? – Иванюта запустил пятерню в седующую шевелюру.
- Конвергентная эволюция, – с лекторской постановкой сообщил профессор, – это когда не родственные животные обладают общими признаками. Расхожий пример – птеродактиль и летучая мышь. Одинаковое строение крыла – сформировалась перепонка между пальцами.
- Очень интересно. – Пятерня Иванюты сползла в бороду. – А к нам это каким боком?
- И те и другие анонимно, не вызывая подозрений, работают из тени. – Петр Алексеевич опередил

- профессора. – Я не про тех, кто с перепонкой... Только в случае тайного добра эта тень – белая.
- Смотри – ты меняешь тайное зло на тайное добро, – горячо заявил Иванюта, – и считаешь это революционным кувырком. Как будто прежде мы думали, будто у окружающих только одна забота – что бы такого сделать плохого...
 - Почему? Есть, наверное, и другие заботы. – Петр Алексеевич старался держать ровный тон. – Ощущение, что ты в кольце и тебе нужно занять круговую оборону, может быть как маниакальным, так и сдержанным. В последнем случае вовсе не обязательно думать, что со всех сторон одни мерзавцы, желающие тебе лиха, – можно допустить, что до тебя просто никому нет дела. Но я предполагаю нечто иное. Я предполагаю, что мир таков, каков есть именно потому, что существуют скрытые силы, не только позволяющие камню упасть на твою голову, но и не дающие ему это сделать. – Петр Алексеевич посмотрел на Иванюту. – У тебя никогда не возникало подозрения, что кто-то незримый время от времени убирает скользкие банановые шкурки на твоём пути?
 - Нет, не возникало. – Было понятно, что Иванюта просто поддался духу противоречия.
 - А вот мне порой кажется, – признался Петр Алексеевич, только сейчас, в этот самый миг уверившись в произносимом, – что истинный размах тайных благодеяний значительно превышает наши представления на его счет.
 - Мне вообще-то понравилось про художника, – примирительно сообщил Иванюта.
 - Вот и хорошо. – Петр Алексеевич улыбнулся. – Художник так художник. Давайте проведем расследование. Чисто умозрительное. Итак, живет себе художник. Талантливый, самобытный. Но картины его, прямо скажем, не нарасхват. Правда, кое-что иной раз покупают. Не музеи или всем известные коллекционеры, а какие-то неведомые личности. Или нежданно поступит заказ на оформление книжной обложки от какого-то крошечного издательства, о котором никто никогда не слышал. Да и девушка повстречалась беззаветная – сама худо-бедно зарабатывает и дом содержит, все хозяйственные хлопоты – на ней. Есть где художнику жить, есть что на зуб положить, да и мастерская – невеста какая, но имеется. Как-то так все само складывается... Словом, не жирует, но и не бедствует – творит, пробует, брызжет идеями... Знакомая история?
 - Знакомая, – согласился Иванюта.
- Цукатов выразил солидарность наклоном головы.
- А потом приходит и признание, пусть даже после смерти, – продолжил Петр Алексеевич. – Хотя в искусствоведческой литературе обязательно напишут о черствости и слепоте современников, о непризнанности и недооцененности великого мастера – потомкам это дает законный повод для самоутверждения. А теперь представьте такую маловероятную вещь: выискался некий дотошный исследователь, который установил источники всех материальных и нематериальных благ, когда-либо свалившихся на голову нашему мазилке. Он сопоставил факты и ко всеобщему удивлению обнаружил, что все ниточки тянутся в определенном направлении. Или того больше – сходятся в определенном узловом центре. То есть нашлась колыбель... Нет – генератор. Обнаружился генератор этих милостей судьбы – пусть скромных, но обеспечивающих, возможно, наилучшие условия существования и развития творческой личности. Привычная картина меняется: вместо тайных завистников обнаружился тайный покровитель, увы, в отличие от художника, не оставивший потомкам своего имени.
 - Блеск! – Иванюта заерзал на стуле от возбуждения, хотя, на взгляд Петра Алексеевича, мысль о тайном благодеянии принадлежала именно Иванюте, а сам он лишь импровизировал на эту тему. – Какое поле для художественного свиста!
 - Но это не все! – Петра Алексеевича окрыляло вдохновение. – Может случиться и так, что объектом опеки окажется хам, мужлан и бесчестный тип. В таком случае помощь будет иная. Назовем ее условно принудительным благом, тоже тайным – в дело пойдут поучительные трудности, вразумляющие испытания, очищающие страдания и... Черт знает что еще! Тут помощь может иметь самые непредсказуемые формы.
 - Детективный жанр посрамлен! Ведь для того, чтобы постоянно оставаться в тени, рыцарю тайного добра следует быть изощреннее мошенника! Или даже шпиона... – Иванюта едва не подпрыгнул на месте. – Вообразите: опер Дукалис распутывает не преступление, а благодеяние! Хотя Дукалис вроде из убойного...
 - Для этого нужна малость, – заметил Цукатов. – Благодеяние должно оказаться вне закона.
- Они немного поспорили: обязательно ли скрытому добру быть вне закона, чтобы расследование связанных с ним обстоятельств вызвало интерес, или достаточно магнетизма самой его сокрытости? После чего профессор предложил взглянуть на об-

суждаемый вопрос шире. Ведь тайное благодеяние как действие с не вполне осознаваемым побуждением (наслаждение собственной анонимностью? чувство солидарности с такими же затейниками-анонимами?) и уж точно не имеющее никакого корыстного основания (другое дело тайное зло – за ним всегда стоит чей-то интерес) может оказаться лишь частным случаем проявления *левшизма*. Он так и сказал: «левшизма». Петр Алексеевич подумал, что профессор имеет в виду заповедь про левую и правую руку, но Цукатов пояснил, что подразумевал тульского левшу, как архетип безотчетной тяги к предельной безкоризненности. То есть, черт дерн, такого отношения к делу, когда мастер совершает сверх того, что требуется, не для заказчика, который об этом даже не узнает, а рассчитывая на оценку Всеведущего. Иначе почему тулякам оказалось мало *поставить блоху на подковы* – им еще понадобилось отчеканить на каждой подковке имя мастера, ее изготовившего, хотя виньетку не видно даже в самый сильный мелкоскоп. То же и цеховые мастера Средневековья, покрывавшие затейливым узором внутреннюю поверхность ножен или помещавшие на крышу собора чудесные изваяния, которые видны только птицам и ангелам.

В свою очередь Петр Алексеевич посетовал, что в новые времена, презирующие любые мотивы, кроме экономических, явление левшизма, как бессловесной молитвы мастеров, молитвы делом, к сожалению, практически сошло на нет. Торжествующая власть чистогана подсечно-огневым методом выжигает или перекраивает на свой лад все заповедные области, где струение денежных потоков затруднено. Если дух святой дышит где хочет, то дух стяжания все вокруг себя заполняет ядовитыми парами, создавая атмосферу, в которой, кроме миазмов наживы, больше нечем дышать. Таким образом выжигается и священная роща тайного благодеяния. Причем выжигается основательно, на корню – исключается сама возможность подобного мотива. Что он имеет в виду? Пожалуйста! Каждый из нас может допустить, что кто-то исподтишка бросает муху в его тарелку с супом. Но предположение, что кто-то тайком вытаскивает мух из его тарелки, выглядит совершенно невероятным. Не может такого быть – или померещилось, или милость Божия... Поэтому не кривя душой можно заявить, что в мире чистогана тайное благодеяние по существу уже находится вне закона.

Иванюта подхватил тему и вспомнил Карла Поппера – его термин «открытое общество». Чем занимают сегодняшние политики? Это же форменный гриминг! Подобно обезьянам, они ищут друг у друга

в шерсти блох и, найдя, радостно демонстрируют улов избирателю. Нас окружает социальное тело, которое стремится быть прозрачным, как медуза, и потому не терпит никакой скрытости, никаких темных пятен и загадочных побуждений. Включая побуждение к тайному благодеянию. Мир, исповедующий экономику как свою основную религию, молится лишь на прибыль и пользу, а это – другие имена корысти. Именно деньги и их движение составляют материальную, а теперь, пожалуй, и духовную основу открытого общества. Предприимчивость и конкуренция, как добросовестная, так и недобросовестная, – пружинки в заводном механизме этого общественного органчика, а лень и экономическое равнодушие некоторых его деталей – всего лишь системные помехи. Сопrotивление материала, которое подлежит учету. Но если с Обломовым открытое общество еще готово мириться как с неким инертным элементом, не вступающим в реакцию с окружением, в то время как остальные Штольцы непрестанно химичат, пытаясь произвести из отношений с окружением выгоду, то с явлением тайного благодеяния открытое общество не станет мириться никогда. Потому что с позиции экономики оно непредсказуемо, а стало быть, это несистемная помеха, трещинка в несущей конструкции, грозящая разломом всей модели.

Еще немного, и трактир на Кузнечном стал бы родильной палатой, свидетелем явления на свет невозможного в прозрачном обществе-медузе тайного ордена – скорее рыцарского, чем монашеского. Но с самоотчетом у рыцарей все было в порядке: разумеется, они – не вестники разлома, что бы им самим по этому поводу ни мнилось. В лучшем случае – симптом небольшого системного сбоя.

Подумать только! А ведь все началось с найденной сорок лет назад на улице десятки...

Это было вчера. А сегодня Петр Алексеевич с Полиной, которая продолжала показательно на него дуться, неслись сквозь синие в утреннем сумраке мартовские снега, покрытые глянцевым настом, на Псковщину. Конец масленичной недели решили провести в народно-хороводном стиле на природе: скатиться на санках с берегового склона к реке, не замерзающей лишь на каменистом перекате, сжечь чучело Масленицы, напечь блинов и наестся ими до такой *раблезианщины*, чтобы потом полгода на блины не хотелось даже смотреть.

Из Пскова в деревню вместе с младшей дочерью Люсей и ее кавалером-студентом собралась и сестра Полины Ника (после окончания Академии Шти-

глица она вышла замуж за псковского художника и переехала на берега Великой), что, по наблюдениям Петра Алексеевича, уже наверняка гарантировало коллективные игры на воздухе, сопровождаемые визгом и писком, – так сестры отдавали дань памяти своему счастливому детству. К визгу и писку Петр Алексеевич сегодня был не слишком расположен, но чувство небольшой вины, умело возвращенное в нем Полиной, требовало от него не только смирения, но и снисходительного участия.

В пути, после очередного дорожного маневра, который, на взгляд Полины, выглядел не вполне безупречно, она с каплей яда в голосе всякий раз спрашивала Петра Алексеевича:

– Как чувствуешь себя?

Петр Алексеевич держал задумчивую паузу, после чего неизменно отвечал:

– Баснословно.

И это была правда – вчерашний день все еще нес его на своих крылах, и там, где он парил, царили высь, даль и холодное сияние.

К часу пополудни добрались. Ника оказалась на месте первой – у забора уже стоял Люсин «рено», из открытых дверей пристройки доносилась жизнь, из печной трубы, подхватываемый нестрашным ветром, струился дым.

Выгрузив пакеты с продуктами, Петр Алексеевич принялся вязать из двух жердин крестовину для чучела, а Люся с худым, но энергичным студентом Степой отправилась в поле, чтобы нарвать торчащей из-под снега высокими пучками жухлой прошлогодней травы, которой предстояло стать соломенным телом Масленицы. Полина выделила для идолища несколько цветных тряпок и старый фартук – отцовская художественная жилка тоже трепетала в ней, пусть и не так звонко, как в Нике.

Чучело получилось – загляденье, хоть сейчас в этнографический музей. Отнесли его на огород и воткнули в сугроб. Сжигать было жалко, да и гореть Масленица поначалу не хотела, так что пришлось идти в дом на поиски керосина. Обследовав пристройку, забитую всевозможным деревенским хламом, керосина Петр Алексеевич не обнаружил, поэтому воспользовался припасенным спиртом, уже давно не находившим себе достойного применения, – на компрессы никто не претендовал, а водка в магазинах не переводилась. Пылала Масленица красиво – Полина с Никой радостно скакали вокруг, пища и воодушевленно взвизгивая в полете. Люся со Степой снимали шашки на смартфоны.

Потом катались на санках с берегового склона. Санки скользили по насту, как по льду, вертелись,

заваливались на бок; Люся, показывая характер, повелевала студенту Степе снова и снова таскать санки вверх. Потом гуляли по лесу – наст схватился так прочно, что держал человека, поэтому свежих следов лесное зверье не оставляло, хотя теперь было самое время для любовных заячьих игрищ. Петра Алексеевича это обстоятельство огорчило: пока стоят робкие холода – не страшно, а если ударит запоздалый мороз – ни тетерев, ни тем более рябчик такой наст не пробьют, придется коченеть на ветке...

Слева у просеки показалась и юркнула в заросли рыжая лиса, вызвав оживление и женские восторги, – несмотря на зимнюю погоду, плутовка была уже по-весеннему встрепанная, вся в шерстяных клочках. Справа на льду озера сидел над лункой одинокий рыбак. Рядом с рыбаком вместо ледобура лежала старинная пешня – в хозяйстве у тестя, Александра Семеновича, была такая же. Почему-то вид этого инструмента пробудил в Петре Алексеевиче теплое чувство, похожее на уважение, хотя ни разу в жизни ему не приходилось пускать пешню в дело. Над озером, бросая в небеса раскатистое «кр-р-ра», кружил ворон, то ли намереваясь сожрать рыбака, то ли рассчитывая на подачку.

Вернувшись домой, принялись за блины. Пока Петр Алексеевич второй раз растапливал печь – в избе все еще было зябко и сыро, окна запотели, – Люся с Никой в четыре руки напекли стопку в поллоктя высотой. Блины были тонкие, кружевные, поджаристые по краю и испускали теплый сладковато-масляный аромат. Полина выставила на стол к блинам кетовую икру, тертый сыр с яйцом, чесноком и майонезом, рубленую селедку, выложенные веером розовые лепестки семги и белые палтуса, сладкий творог с курагой и, разумеется, сметану, мед и варенье – из летних запасов в доме нашлось черничное. У Степы была бутылка вина, а у Петра Алексеевича – водки, так что картина получилась не только живописной, но и законченной.

Попировали от души, хотя до конца, до дна фарфоровой тарелки, блины все-таки не одолели.

– Ничего, – заверила Полина, – подчистим завтра.

Действительно, завтра Прощеное воскресенье: не подчистишь – пропадать добру. Расточительно, не по-хозяйски.

Вскоре, не дожидаясь сумерек, псковичи, сытые, с раскрасневшимися от вина, катания с горки и лесной прогулки на свежем воздухе лицами, собрались уезжать. Ночевать в так до конца и не прогретом доме нужды им не было – до Пскова

всего полтора часа езды, против пяти с лишним до Петербурга.

Прощались у калитки, с объятиями и поцелуями.

– Ой! – Полина потянулась было к Люсе губами, но вдруг отскочила.

На снегу под ее ногами лежало черное бархатистое перо, похожее на мышь.

Наутро Петр Алексеевич поднялся затемно. Тихонько, едва ли не на ощупь, чтобы не потревожить спящую под двумя одеялами Полину, оделся и вышел в коридор к умывальнику. В сравнении с коридором, в комнате у печки царило лето. Вода в умывальнике однако не замерзла, удерживала пограничный градус – окуная лицо в сложенные лодочкой ладони и разбрасывая ледяные брызги, Петр Алексеевич невольно по-лошадиному фыркнул.

Спать не хотелось – вместо того чтобы маяться, ворочаясь с боку на бок в предрассветной тьме, Петр Алексеевич решил прокатиться к теляковскому краю леса: там за просекой, в старой зарастающей поруби, по словам Пал Палыча, из года в год токовали косачи. Неплохо было бы разведать место – охота в этом году по Псковской области открывалась первого апреля и должна была продлиться до тридцатого. Целый месяц! Можно успеть и на гусиные поля, и на тетеревиный ток, и на селезня с подсадной, и на тягу длинноносого вальдшнепа. Петр Алексеевич вспомнил, как в прошлые годы, когда весеннюю охоту открывали только на десять дней, Пал Палыч сетовал: «Если утка на гнездо ня села, кроется, так селязень при ней. Пока она не сется, она ему дает – зачем ему еще куда-то? Они в паре. А как утки на гнездо сядут, так селязня освободят. Тут они на подсадную и идут – они ж на взводе, им в охотку. А у нас... Утки еще ня отнесли, а охоту уже закрыли. Как специально, чтобы ничего людям. А вы говорите – браконьеры... Так иначе ж нет охоты! В Залог, откуда мать родом, все браконьеры: кто сетки кинет, кто с ружьем. Только что-то никто ня забогател – горбатые есть, а богатых нет».

В кухне на столе стояла недопитая бутылка водки и пара рюмок. Скорее машинально, чем по необходимости, Петр Алексеевич наполнил одну, попытался взять, но рюмка прилипла к клеенке, так что ее пришлось отрывать, словно пиявку. Водка была холодной и, как полагалось, практически не имела вкуса. Закусил ломтиком палтуса.

Бросив в багажник сапоги с вкладышами, Петр Алексеевич завел машину, подождал, пока обогрел сиденья обнаружит признаки трогательной заботы,

и тронулся со двора по хрустящему под шипованной резиной насту.

На лесной дороге пришлось быть внимательным: в феврале по здешним местам прошла буря: ветер, выворачивая корни, валит деревья и как спички ломал вершинник. По большей части дорогу успели расчистить – перегораживавшие проезд стволы распилили, ветки и колоды оттащили в сторону, – однако пролесок был узок, и в рассекающем сумерки свете фар следовало не зевать, чтобы невзначай не проскрести бортом по торчащему из куста спилу сосны или березы.

Машина на полном приводе шла по заледеневшему накату уверенно, пускать в дело понижающую передачу нигде не пришлось. На перекрестье дорог, одна из которых отделяла старый бор от молодого леса, высаженного частыми рядами лет пятьдесят назад взамен выпиленного делового сосняка, Петр Алексеевич заехал на боковую проплешину, чтобы не мешать проезду (кому в этой глуши да в эту пору он мог помешать?), и заглушил мотор. Здесь, в молодом лесу, как раз по этому краю, было знатное грибное место: в августе тут во множестве вылуплялись из земли царственные крепыши-боровики – «шоколадные», как называла их Полина, а подальше, в глубине, сидели дружными семейками желто-бурые моховики – тоже почтенное грибное племя. Машина стояла на стороне старого бора, возле кривой осины, которая выглядела рядом с могучими барственными соснами неуместной, как Самсон Вырин в квартире гусара Минского. Действительно, в соседстве со стройными зелеными деревьями-аристократами голая осина смотрелась простоватой, без благородства ветхой, кособокой и невольно требовала от всякой чуткой души сочувствия.

Переобувшись в сапоги, дальше Петр Алексеевич пошел пешком – в машине не услышишь бормотание косачей, да и невзначай можно спугнуть птицу, хотя вид человека страшит лесную братву больше, чем с рокотом ползущая по дороге железяка.

Понемногу светало, но лес был тих и не подавал признаков весеннего пробуждения – только скрип стволов и шум набежавшего ветра в кронах. Часа полтора Петр Алексеевич ходил по теляковскому краю вдоль просеки и по старой поруби, прислушивался к лесным звукам, но косачиной песни так и не дождался – то ли еще не ударила жаром в птичьих сердца весна, то ли он сам подшумел сломанной веткой или треском наста под сапогом и насторожил опасливых тетеревов, то ли не было поблизости и вовсе никакого токовища.

Домой вернулся ни с чем, но влать, по горло надышавшимся стылой лесной благодати. Полина еще не вставала, разомлев в стеганом ватном коко-не, однако уже не спала.

- Прости, что позавчера с друзьями засиделся на Кузнечном, – сказал Петр Алексеевич, с шумом вываливая у печи на пол охапку дров. – И вообще... Если когда и обижал тебя, то не со зла, а лишь по грубости натуры.
- И ты меня прости. – Полина высунула из-под одеяла нос. – На меня тоже иной раз находит. По-рой не знаю, что и делать...
- Ерунда. – Петр Алексеевич отряхнул от налипшего мусора свитер. – Просто сходи к дантисту и вырви ядовитые зубы.
- Дурак! – выпростав руки из-под одеяла, потяну-лась Полина.

Позавтракав вчерашними блинами, разогретыми на сковородке, отправились в Новоржев. Перед отъездом из Петербурга Петр Алексеевич по давней просьбе Пал Палыча записал на флешку голоса ди-ких гусей и теперь хотел послушать их на перенос-ной колонке, которую Пал Палыч собирался поза-имствовать у внука, – хорошо ли звучат, увлекают ли, манят? Чем черт не шутит – может, в этом году удастся попытать охотничье счастье на кукуруз-ных полях под Ашевом. Да и прощения попросить за вольные и невольные обиды тоже бы не помешало.

Датчик показал температуру за бортом – круглый ноль. Петр Алексеевич посмотрел в зеркало заднего вида и остался этим видом недоволен – дорожная грязь сделала его мутным, крапчатым, неочевид-ным. А между тем небо местами уже расчистилось и играло солнечными проблесками. Выехав с хру-стящего заснеженного проселка на раскатанное шоссе, Петр Алексеевич включил омыватель заднего стекла, и машина завилала хвостиком.

Нина возилась во дворе у беседки с какими-то деревянными конструкциями размером с небольшой почтовый ящик, но затейливыми – резными и пестро раскрашенными. Тут же на скамье стояли три но-вых составных – в два этажа – пчелиных улья. Те-перь местные пчеловоды работали именно с такими, слаженными из съемных корпусов – как натакают пчелы полный магазин меда, сверху ставят еще один, и мохнатые трудяги переходят на следующий уровень. Если нужда – хороший взятки – поставят и третий. Качают мед с таких ульев только один раз за лето – под Медовый Спас. У Александра Семено-вича на его маленькой пасеке улья были старые, обветшавшие, но новшества он не принимал и на

рассказы Пал Палыча о краснодарских матках, чер-вящих правильных, незлобивых пчел, весело возму-щался: «Что это за пчелы, которые не язвят? Это же скучно работать!»

Исполнив ритуал и взаимно простив друг дру-гу доставленные за год огорчения и неудобства (скорее мнимые, чем действительные), разошлись по интересам – Полина осталась во дворе с Ниной делиться мечтами относительно весенних цветни-ков и летних грядок, а Петр Алексеевич отправился в дом к Пал Палычу.

Хозяин сибаритствовал – лежал на диване в го-стиной и наблюдал за бабочкой, стучавшей крыль-ями в окно. Кажется, это была крапивница.

– Петр Ляксеич! – Пал Палыч живо поднялся с ди-вана. – Ня ждал! Вы б позвонили – я б свежей ры-бинки припас...

Петр Алексеевич не стал гасить искреннее во-одушевление Пал Палыча напоминанием о насту-пающем посте. Если хозяин в этом деле не строг – его дело. При всем своем педантизме ханжой Петр Алексеевич не был.

– Вот, – пожимая руку гостю, Пал Палыч кивнул на трепещущую бабочку, – в дровах заснула. При-нес полешек растопить камин, думал – мертвая. А нет – отогрелась.

В камине и вправду плясал веселый огонь.
– Простите меня, Пал Палыч, если было что не так. – Петр Алексеевич погрузился в теплую пу-чину какого-то беспредметного метафизическо-го раскаяния. – Все по глупости, не по злобё...
– Бог простит, Петр Ляксеич. И вы зла ня держите. Мы люди ня ученые – бывает, где-то что ня так пойдем...

Пал Палыч широким жестом пригласил гостя на диван.

– Гляжу, у вас на дворе новые ульи. – Петр Алек-сеевич крутил на пальце подвешенную на петлю флешку. – Сами мастерите или заказываете?
– Какое... – отмахнулся хозяин. – Это вон Нина рукодельничает – мастерит скворечники. Есть у ней к дереву влечение, любит с им возиться. Ня скворечники – терямки из сказки. – Пал Па-лыч усмехнулся, но мягко, одобрительно. – Когда я у богатого работал, у него станки, так я там пчалам домики делал. А сам я без станков – тя-перь мне никак. Покупаю у одного опочецкого...
– А когда у богатого работали – и ему, и себе ма-стерили?
– Не... – помотал головой Пал Палыч. – Только ему. Я ня воровал, ни единого домика... Разве по ме-лочки – гвоздик какой. У него в Вяхно цех сто-

- лярный, две видеокамеры – какого тут возьмешь? Я когда у кого-то работаю, я честно... – Пал Палыч впал в небольшое волнение. – Эти домики – всем хорошо, только дятлы долбят. Они, домики, в одну доску – одностенные, но пчелы зимуют по тяперешним зимам. Ты вот так корпуса ставишь друг на дружку, а они вот сюда, в паз, долбят. – Пал Палыч показал руками воображаемые корпуса и ткнул пальцем в незримый паз. – С осени, с ноября и начинают. Дятлы – один недостаток.
- Что там дятлу искать? – удивился Петр Алексеевич, никогда прежде не слышавший о такой напасти.
 - Так он соты, мед – только дай! Вот такую дыру выдолбит, – Пал Палыч показал увесистый кулак, – и тягает. Но дятел ня наш, а зялений. Наш пестрый, с шапочкой, с красным крылом – красивый, а это – зялений.
 - У Александра Семеновича на ульях дятлов ни разу не видел.
 - Так у Ляксандра Сяменыча ульи двустенные, старые – дятлу ня как, – пояснил Пал Палыч и задумался. – Хорошо, напомнили: теплый день встанет – съезжу, посмотрю, как ваши пчелы пярезимовали.
- У Петра Алексеевича и в мыслях не было напоминать Пал Палычу, живущему на земле и всегда имеющему ту или иную собственную заботу, требующую неотложных усилий, о каких-то посторонних делах.
- Мне, Пал Палыч, ей-богу, неудобно... – Он и в самом деле чувствовал неловкость из-за бескорыстного, едва ли не родственного усердия, с которым Пал Палыч опекал крошечную пасеку Александра Семеновича (в свои без малого девяносто тесть имел ясную голову, но ворочать тяжелые крышки ульев, ловить рои и таскать полные меда магазины ему уже было не по силам – что могли, брали на себя Ника, Полина или Петр Алексеевич, но это по случаю, наездами, а пасека, даже такая крошечная, требовала регулярного внимания), с такой же бескорыстной готовностью Пал Палыч помогал всему их семейству и в любом другом деле – подыскать работника, чтобы поправить забор, выкосить участок, выпилить лозу по берегу реки или, опять же, что-то по охоте...
 - Вот вы спрашиваете, чего я прихожу и бесплатно помогаю вам с пчалами. – Петр Алексеевич действительно уже не раз высказывал Пал Палычу на этот счет свои соображения, мол, есть силы тянуть дело самому – тяни, нет – закрывай лавочку или нанимай кого-то, а чужих людей, да еще задарма, не впрягай. – А я ня только вам,

я и другим. Потому что это я ня для вас и ня для них, а для себя... – Пал Палыч дважды ударил себя кулаком в грудь. – Почему для себя? А для того, чтобы прийти туда, в тот мир, – взгляд Пал Палыча скользнул вверх, – и сказать... Вот как пяред Богом пяред вами – сказать каждому, кого там встречу: а мне ня стыдно глядеть тябе в глаза, потому что я нес добро. Как можно больше нес добро. А зло... Ну, извини, с им я, как мог, так и боролся – по своему разумению.

Петр Алексеевич молчал, боясь неосторожной репликой невзначай увести разговор в сторону: слова Пал Палыча неожиданным образом напрямую рифмовались с темой недавнего симпозиума на Кузнечном.

- Вот и с жаной ругаюсь, – продолжал Пал Палыч. – Она мне: ты чего день в чужих людях отработал бесплатно? У нас у самих огород, поросенок – есть куда руки приложить. Что тут скажешь? Из гада рыбину ня сделаешь. – Пал Палыч выразительно пожал плечами и пояснил: – Это я про себя. Или повез сямью с двумя детьми в Плёссы – это Бежаницкий район – к бабушке... Они с ней повидались, та их обедом накормила, целый им багажник еды собрала – и везу назад. Деньги бяру только на бензин. Я это делаю для чего? А потому что в той сямьи у женки был отец – мы с ним так дружили, в таких отношениях были... – Пал Палычу как будто не хватало слов, что случалось с ним нечасто. – Вот я на тракторе с тягелой завяз, прихожу к нему в двенадцать ночи зимой. Мороз, в радиаторе у всех вода залита, если ее прихватит – это все: караул, трактор встал, ня будет ни работы, ни денег. Я, значит, прихожу к нему: «Дерни меня». Он встает, заводит свой трактор, заливает горячей водой, часа два путаемся там, тягелу грузеную отцпаляем, и он меня вытягивает. Потом тягелу отдельно. Я ему говорю: «Сколько с меня?» – «А ничего, Паша. Мы трактористы с тобой – завтра я завязну, так ты меня выдернешь». Вот такие отношения.

Бабочка описала под потолком круг и перелетела на другое окно. Пал Палыч проводил ее взглядом.

- Я жизнь прожил, а он меня так ни о чем и ня попросил. Только я к нему бегал – в год раз или два – и он с меня никогда копейки ня брал. Он тяперь умер, его нет, а я сейчас его внукóв вожу. Для чего? А для того, чтобы прийти на кладбище... в смысле, в ту жизнь, когда пора настанет, и, с ним встретившись, сказать: «Вот, отдаю должок». А он мне: «Я знаю, я сверху видел, как ты мою дочку с внукáми возил и копейки с них ня

обдирал». А они бедно живут, с них и взять нечего... Я так думаю и так для себя хочу, чтобы с теми, с кем жил на зямле, с ними жить и там, – взгляд Пал Палыча снова скользнул вверх, – чтоб ня стыдно было, чтоб сказать им при встрече: «Ну как, есть претензии?» И они меня поцалуют, а я – их.

Повисла пронзительная пауза. Петр Алексеевич, не зная, как прервать ее, протянул Пал Палычу флешку.

– Записал голоса гусей, как вы просили. Здесь и серые, и гуменники, и белолобые... Не знаю, какие тут на поля садятся.

– А пусть все кричат – мало ня будет. – Пал Палыч взял флешку. – Сейчас, – он неопределенно махнул рукой, – подымусь за колонкой...

Хозяин исчез за дверью гостиной, деревянные ступени ведущей на второй этаж лестницы заскрипели под его тяжелой поступью. «Бескорыстное добро и тайное добро – вещи разного дыхания, – подумал Петр Алексеевич. – И если бескорыстное так красиво, то тайное – просто чума».

В отсутствие Пал Палыча он все же решил проверить одно вздорное соображение. Не надевая куртку, он вышел во двор, направился к стоящим на скамье ульям и, приподняв крышку, заглянул одному из них внутрь. Струганые стенки были чисты и, помимо естественного древесного узора, не несли на себе никакого послания мохнатуму пчелиному богу. На всякий случай заглянул во второй – та же картина.

В этот миг Нина с Полиной, за которыми неотступно следовали два пыльных кота, вышли из теплицы, и до Петра Алексеевича долетел обрывок разговора.

– Для кого же вы такую красоту повесили? – В недоумении Полины слышалась искусственная нотка. – Для перцев с помидорами?

– Бог – ня Тимошка, видит нямножко, – улынулась Нина.

Слова эти, точно электрический разряд, пробили Петра Алексеевича от макушки до подошвы. Ну конечно! Техника безопасности... Тайное благодеяние должно иметь не только неопределимый источник, но и вообще никому не бросаться в глаза. А в идеале – исходить оттуда, откуда и предположить нельзя. Чтобы само подозрение о чем-то подобном выглядело смехотворным. Да, Пал Палыч сам великий доброхот, но кто-то и его тайком ведет по жизни, вытаскивая из его тарелки мух. А он, прозорливец, проморгал – не разгадал того, что тут, вблизи, под носом...

Петр Алексеевич огляделся, увидел в беседке два раскрашенных скворечника, действительно,

сооруженных в виде сказочных домиков-теремков, и, едва не поскользнувшись на заледенелом снегу, поспешил к ним. У одного скворечника была еще не налажена затейливая крышка-кровля с резными башенками, и Петр Алексеевич с нетерпением осматривал утробу птичьего чертога. Стены изнутри были ярко расписаны цветами, травами и спелыми гроздьями рябины.

Один из котов степенно зашел в беседку, хотел было вскочить на стол, но заметил скворечники и задумался.

На крыльце показался хозяин. В руках у него была небольшая колонка, из динамиков которой, теряя на лету пух, рвался многоголосый гусиный гомон. Полина с Ниной, как заговорщицы, как дети, связанные общей тайной, что-то обсуждали возле закутанных в мешковину розовых кустов. Над головой Пал Палыча вилась, зачарованная обманчивым мартовским небом, крапивница. По дороге перед домом коленками назад расхаживал домашний аист.

Петр Алексеевич этого не видел – вокруг, слепя и мерца, словно жемчужный туман, разливалась белая тень.

